



ИРИНА ГОРЮНОВА

Божьи куклы

Ирина Горюнова

Божьи куклы

«Автор»

2011

Горюнова И. С.

Божьи куклы / И. С. Горюнова — «Автор», 2011

«Божьи куклы» Ирины Горюновой – книга больших и маленьких историй про людей, которые могли бы быть счастливы, родись и живи они в идеальном мире. Без предательств и ошибок, без насилия и страха. Но они – марионетки в опытных руках Кукловода, зачастую лишены свободы выбора. Стать счастливым в неидеальном мире гораздо сложнее, и оттого это счастье – живое, настоящее, непридуманное. Чужой жених и чужая невеста, случайно встретившиеся на собственных свадьбах и оставшиеся вместе, мать, едва не потерявшая сына, гениальный танцовщик, буквально отдавший жизнь за свою одноклассницу и получивший взамен славу мирового масштаба и совсем иную судьбу, чем ему было предназначено... Все эти истории как будто подслушаны у прохожих на улице, предельно реалистичны и в то же время невероятны. Читая «Божьих кукол», начинаешь по-другому оценивать неудачи – как возможности. А успехи – как запоздалые порой предостережения...

© Горюнова И. С., 2011

© Автор, 2011

Содержание

Божьи куклы	5
Реанимация	5
Кукла	6
Внутренние монологи. Ольга	8
Матронушка	9
Николай	12
Внутренние монологи. Николай	13
Внутренние монологи. Антон Лупарин	15
Бестиарий	17
А из нашего окна...	20
Отец	22
Замужество	27
Внутренние монологи. Клавдия	29
Обида	30
Бестиарий. Помпа	33
Новый год	35
Внутренние монологи. Ольга	36
Времена города	38
Серафима	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Ирина Горюнова

Божьи куклы

Божьи куклы

Звери, живя вместе с людьми, становятся ручными, а люди, общаясь друг с другом, становятся дикими.
Гераклит Эфесский

Реанимация

В воздухе стоял тошнотворный запах отчаяния, боли и близкой смерти. Пять стоящих у облупленной стены стульев зияли черными сиденьями, словно космическими дырами. В Бермудском треугольнике реанимации толклись несколько человек, судорожно сжимая кулаки. Когда дверь врачебного кабинета приоткрывалась, люди со свистом вздыхали, а медбрат в белом халате, никого не видя, проходил мимо.

Дверь снова приотворилась, и зычный голос выкрикнул: «Лупарина!»

Немолодая женщина с помятым и потерянным лицом поспешно побежала на зов.

– Здесь я! Сын мой... тут... – Она затопталась на месте, нервно одергивая одежду негнувшимися пальцами.

– Ваш сын страдает аллергией на лекарства? – прервал врач.

– Он, знаете... да, у него аллергия, почки... и нельзя ему...

– Что нельзя?

– Вот... карточка... поликлиники, тут все... лучше написано... а я... Что с ним?

– Вашего сына нашли в шахте лифта полуразрушенной больницы. Клиническая смерть. Откачали. Но... большая потеря крови. Переломан весь. Состояние критическое. Вряд ли выживет. Молитесь, – отрывисто и сухо пояснил врач.

– Ой, господи! – зарыдала женщина. – Спасите его, умоляю!

– Соберись. Не смей реветь, – прервала ту незаметно подошедшая к Лупариной знакомая, соседка по лестничной клетке. – Что-то надо принести? Лекарства? Памперсы? Может, надо дежурить около него?

– Пока говорить об этом рано, – ответил врач. – Он пролежал без помощи около пяти часов. Сейчас идет операция. Идите домой.

– Когда можно позвонить?

– Вечером. После пяти. И оставьте телефоны на всякий случай. Если что, вам сообщат.

Кукла

Оленька сидела в накрахмаленном белом платье на жестком стуле, положив ручки на колени, и боялась пошевелиться. Большие нелепые банты на белокурых волосах еще больше подчеркивали узость скуластенького личика на фоне огромных и доверчиво распахнутых серых глаз. Она ждала, когда к ней наконец придет Дед Мороз и принесет подарки. Девочка так мечтала о большой красивой кукле, которую случайно увидела в магазине, когда они с мамой ходили покупать школьную форму... Кукла была прекрасна. Одета в шикарное голубое платье с большими рюшами, выпятив алые губы, кукла пристально смотрела на Оленьку с витрины и словно бы вопрошала: «Будешь моей хозяйкой?» Разумеется, мама протащила Оленьку мимо, и красавица так и осталась стоять в ожидании своей участи. Впрочем, девочка верила, что если хорошо себя вести, слушаться родителей и учить уроки, то Дед Мороз обязательно заметит это и сделает желанный подарок.

Зимой темнеет рано, вот и тогда только огни соседнего дома разноцветно светились, весело подмигивая. Девочка представляла себе, как по заснеженным улицам, утопая в сугробах, идет Дед Мороз в своем красном халате, с мешком за плечами, как выжидательно смотрят на него дети, не решаясь подойти и спросить, когда он заглянет и к ним. «А вдруг он сегодня не появится? Вдруг он заболел, или у него кончились подарки, или он решил, что Оля недостойна того, чтобы ее мечты исполнились? А может...»

Звонок в дверь прозвучал резко и неожиданно, так что Оля дернулась, застыла и только потом побежала за мамой – открывать.

От Деда Мороза пахло холодом и каким-то неприятным резким запахом, но девочка жадно смотрела на потертый красный мешок, украшенный серебристыми снежинками, и ничего не замечала.

- Ну-ка, ну-ка... как тебя зовут? – пробасил Дед Мороз.
- Оля...
- А знаешь ли ты, Оля, какой-нибудь стишок?
- Знаю.
- Тогда становись на табуреточку и расскажи мне его, а я послушаю.

Оля поспешно взгромоздилась на табуретку и неуверенно продекламировала:

– В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
И днем, и ночью стройная,
Зеленая была.

- Какая умница! И послушная, наверное? Ну, держи подарок!

И Дед Мороз, покопавшись в мешке, достал оттуда огромного лупоглазого медведя с насмешливо высунутым набок пластмассовым языком. Стекланные глаза его глупо и отстраненно смотрели на Оленьку. Рука в синей варежке, отороченной белым искусственным мехом, протягивала девочке подарок, но та словно окаменела и не видела игрушки. Олина мама, Елена Владимировна, подхватила зверя и, сбивчиво благодаря подрабатывающего актера, пошла закрывать за ним дверь.

– Ну что же ты, Оленька? Смотри, кто к тебе в гости пришел! Разве ты не рада? – засюсюкала мать, впихивая в руки дочери мохнатого мишку и стремясь поскорее вернуться к праздничному застолью.

Красивая, с завитыми волосами, пахнувшая волшебными духами, она была сейчас такой же далекой и недосыгаемой, как Полярная звезда, которую ей как-то показал отец.

– Мам, а почему говорят, что под Новый год все желания сбываются? – задумчиво спросила Оля.

– Потому и говорят, что сбываются.

– А мое желание не сбылось...

– Какое желание?.. Значит, ты недостаточно сильно этого хотела. Если будешь чего-то очень сильно желать, все непременно сбудется. Ну, иди играй.

«Может, я действительно не очень сильно хотела мою куклу? Дед Мороз просто не услышал меня. В следующий раз я буду очень громко думать, и тогда он услышит, обязательно услышит... – решила Оля, глядя на таинственно поблескивающие елочные шары на искусственной елке и на ажурные бумажные гирлянды, которые они вырезали с бабушкой всю неделю. – Или это был ненастоящий Дед Мороз? Но Новый год-то настоящий... или нет? А чудеса? Они непременно должны быть! Если я сейчас очень сильно зажмурюсь и очень громко подумаю, а потом быстро-быстро засну, то утром под елкой обязательно окажется моя кукла!»

Оля зажмурилась и подумала очень громко, но ее никто не услышал, потому что и родители, и гости были в соседней комнате, где работал телевизор и где пел и кричал на всю страну «Голубой огонек». Спускавшийся по ступенькам нетрезвый Дед Мороз клял сломанный лифт и лифтеров, свою собачью работу, из-за которой ему по такому холоду, когда нормальные люди отмечают праздник, приходится таскаться по чужим квартирам и доставать из пыльного мешка дурацкие игрушки, – Дед Мороз тоже не слышал, как подумала Оля.

Чуть свет в одной ночной сорочке девочка бросилась к елке и стала раскидывать уложенную вокруг основания вату, откинула пластмассовых Деда Мороза с красным носом и Снегурочку с алыми пятнами на щеках, пару детских книжек и даже три коробки конфет, но куклы – ее куклы! – нигде не было. Ни под елкой, ни на столе, ни в каком-либо другом месте! И тогда Оля поняла, что желания сбываются не всегда. Даже если чего-то очень сильно хочется. Открытие это она, впрочем, предпочла держать при себе, чтобы не расстраивать папу и маму. Снова забравшись в постель, девочка со вздохом прижала к себе нового медведя, прозвав его про себя Недотепой.

Внутренние монологи. Ольга

Новогодний запах мандаринов – это обещание чудес и сказок, которые никогда не сбываются. Я так часто оставалась одна, даже когда в доме было много людей. В праздники меня постоянно укладывали спать мамыны друзья, внезапно замечавшие, что бесхозный ребенок болтается за полночь по квартире, объевшись дареных шоколадок. Как-то раз, лет в шесть, я даже выпила водки, случайно перепутав стаканы и думая, будто там обычная вода... Потом всем было очень смешно, и мама с папой долго рассказывали знакомым «забавный случай». Вообще со мной случалось немало «забавных» вещей. Меня показывали, словно маленькую смешную обезьянку, которая умеет делать фокусы и кривляться. Тогда я стала ЗАБАВНАЯ. Ведь на меня все смотрели, даже папа и мама, и это было приятно – всем нравится.

А однажды мама забыла меня в парикмахерской и вспомнила о «пропаже» только часа через три. Помню, как она забрала меня оттуда, заплаканную и сопливую, и сразу повела в «Детский мир», чтобы задобрить подарком и уговорить не рассказывать о случившемся папе...

Я с детства любила рисовать, чтобы занять хоть чем-то свое время, ведь папе, маме и бабушке было некогда. Меня даже отдали в художественную школу, правда, через полгода забрали: я знаю, им было лень возить меня на другой конец города, хотя ОНИ сказали, будто это из-за того, что я стала хуже учиться и получать тройки. Тогда я начала мечтать. Никто не может забрать у тебя мечту. Ты можешь фантазировать, глядя на проплывающие в небе облака или всматриваясь в бриллиантовые капли дождя, разбивающиеся о парапет балкона, или просто, гуляя по улицам и заглядывая в глаза прохожим, выдумывать различные истории об их жизни – это твои собственные сказки. Они твои друзья, ты не одинока.

Матронушка

Знакомые посоветовали Ольге съездить в Покровский женский монастырь к мощам святой Матроны Московской. О ней и ее силе рассказы передавались из уст в уста, и не было человека, который сказал бы, что не помогла ему святая, не вняла его мольбе. Рассказывали, что ласково называемая народом Матронушкой подвижница и бессребреница предсказала много бед и несчастий, ожидающих Россию, а еще семи лет от роду пророчила революцию и гражданскую войну, а потом и Великую Отечественную. Слепая от рождения, нищая, бездомная, большую часть жизни скиталась она по московским подвалам, выживая сердобольностью соседей или благодарностью приходящих к ней за помощью. Еще при рождении несчастной слепой девочке явилось чудо – на груди у нее обозначилась странная выпуклость в виде четко прорисованного креста. В дальнейшем чудеса сопровождали Матронушку постоянно. Сколько мытарств и скитаний ни выпадало бы на ее долю, никому она в помощи не отказывала, хотя, разделяя скорби людские, к концу дня могла лишь тихо стонать от усталости и печали, молясь за мытарей грешной земли, ведь истинно нуждавшиеся всегда находили путь к святой. Вот именно к ней, единственной последней надежде на чудо, и устремилась Ольга, истово веря и в то же время боясь впустить эту надежду в измученную свою душу.

Уже на выходе из метро увидела нескольких торговков, продающих цветы, и людей, скупающих их охапками, и очень удивилась, не понимая, зачем все это. Зажатая со всех сторон телами, локтями и сумками в душном переполненном троллейбусе, Ольга услышала чей-то шепот: «А как же, к матушке Матронушке все с цветами идут, принято так! Их потом монахини освящают на мощах, лепесточки обрывают и страждущим отдают. Цветочки эти святые: можно из них чай заваривать или просто так съесть... А то вот еще под подушку кладут, тоже помогает. У иконы-то ее знаешь сколько драгоценностей повешено, золота – все от исцеленных, в благодарность несут! Все сначала на улице стоят – к иконе приложиться, потом к мощам надо и к другой иконе. А то еще свечу поставить можно. Там икона есть, «Взыскание погибших» называется. Это еще Матронушке привиделось, что она быть должна. Всем миром на нее по копейке собирали. Сильная икона. Я ее копию в церковной лавке себе купила. Посмотришь на нее, помолишься – и такая благодать в сердце, словами не передать! Да еще маслица святого прикупи. Им лоб надо мазать. Свечечку припалить слегка и огарочком в маслице макать, лобик этак перекрестишь, и все хорошо будет. Знаешь, сколько раз мне сразу после монастыря легчало! Зятя я отмолила, пить перестал, на работу устроился. Дочь болела, думали, пропадет совсем девка, ан нет, выздоровела. Я тебе так скажу, Настя, коли ты веришь и желания твои добры, не греховны, поможет тебе матушка, донесет твою мольбу до Всевышнего! А коли грех какой задумала, то нет тебе туда пути. Вот, например, мужа от чужой жены отбить, ребенка осиротить, зла кому ближнему пожелать...» Скосив глаза, Ольга увидела говорившую. В сереньком шелковом платке, без макияжа на лице, скромно одетая женщина лет пятидесяти поддерживала под руку заплаканную старушку, сухонькую, в опрятном, но выцветшем зеленом драповом пальтеце с облезшей коричневато-рыжей норкой на воротнике. Ольга заворуженно смотрела в глаза женщины и не могла насмотреться – такой из них исходил чистый свет, и самое лицо ее было благостным, таким, что к ней, к этой верующей, сразу хотелось прикоснуться, потому что думалось, что частица этой веры и благодати обязательно должна остаться и с тобой, как пыльца от цветка на пальцах, когда прикоснешься к самой его сердцевине.

С опаской выйдя из дверей троллейбуса, Ольга кинулась за гвоздиками, которые, словно ребенка, завернутые в старое байковое одеяло от мороза, нянчила в руках уличная цветочница. Неловко перекрестившись перед воротами монастыря, зашла во внутренний двор и вздохнула. Сразу стало понятно, что именно сюда и надо было прийти, что сюда и только сюда вела ее тонкая нить угасающей веры.

Она стояла у иконы Святой Матроны и истово молилась за сына. Ольга не замечала, как на дрожащую руку стекает желтоватый горячий воск, прожигая ее раскаленными жалъцами и оставляя на коже красные пятна и причудливые пупырчатые разводы. «Пусть покалеченный, но живой! Я вы€хожу! Я отмолю! Он моя кровиночка! Спаси его!» – слова катились по кругу тяжелыми глыбами, ворочая застывшие мысли, в надежде обрести хоть малую толику помощи. Впиваясь в опущенные долу незрячие глаза святой лихорадочным взором, Ольга искала подтверждения своим горячечным молитвам, и на секунду ей показалось, как дрогнули веки Матроны, подтверждая участие в судьбе сына.

Заехав после монастыря в реанимацию Склифа, Ольга узнала, что именно тогда в первый раз ее сын пришел в себя. Чудо произошло. Правда, потом, рыдая над иссиня-черным от чудовищных отеков телом, укутанным в бинты, словно мумия или изломанная кукла, Ольга задумалась, что будет, если и правда, по словам врачей, сын никогда не сможет не только ходить, но даже сидеть. Хороша ли будет его жизнь? Не проклянет ли он подобное существование и заодно мать, вымолившую такую жизнь для своей кровиночки? Прогнозы врачей были неутешительными. Сломаны кости таза и бедер – сплошные осколки, собрать которые не представляется возможным. На операции нужны деньги. Именно на операции: их должно быть то ли три, то ли четыре. Сломанные челюсть и руки, отбитые почки, вывернутый плечевой сустав – это такие пустяки по сравнению с тем, что предстояло сделать, – оживить искусственные протезы, сшить сухожилия. Ольга плохо понимала то, о чем толковали ей хирурги, главное, что до нее дошло, это опасность операции для жизни сына и ее стоимость – сто пятьдесят тысяч. Конечно, рублей, но для нее и они были баснословной суммой. Где взять деньги? Надеяться не на кого: муж – пьяница, неудачник, а дочь... что с нее взять? Семнадцатилетняя Клава, отрада и умница, поступившая на отделение иностранных языков в МГУ и получающая повышенную стипендию... Смешные крохи по нынешним временам.

Потрескавшиеся Олины руки, измученные ревматизмом и постоянной уборкой и стиркой, вытирали катящиеся по щекам слезы. «Тридцать восемь лет... мне только тридцать восемь лет... – думала она. – А куда я гожусь?» Высшего образования получить не удалось – слишком ранний и поспешный брак, а потом рождение детей ввергли Ольгу в пучину постоянных забот. Работая в детском саду нянечкой, она ухитрялась подрабатывать уборщицей – в овощном по соседству, и в парикмахерской, и во время тихого часа в саду, и в выходные.

Она нередко вспоминала один из фильмов Феллини, увиденный еще в юности, – «Ночи Кабирии»: сейчас Ольга ощущала себя примерно так же, как его героиня. Болезненное сосущее чувство собственной ненужности и никчемности, желание хоть куда-нибудь притулиться, привязаться к некоему живому существу, которое будет любить тебя, именно тебя, такую, как есть, сопровождало Ольгу всю жизнь. Что такое беспросветный мрак, в котором Кабирия тщетно ищет чудо, она знала не понаслышке. Все пустое: любая вспыхнувшая искорка тут же превращается в уголь... Легенды о великой любви сочинены менестрелями, а жизнь, увы, лишь борьба за выживание, за место если уж не под солнцем, то хотя бы не на помойке. Прикосновение дрожащей руки к другой руке в танце, яркие манящие звезды и жгучие поцелуи на набережной, когда тепло даже при ледящем ветре, потому что внутренний огонь сжигает и дурманит кровь, – все это обман. Самообман. Есть эгоизм, есть желание жить за счет другого, стремление к обеспеченности и комфорту. Все.

«Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить!»

– вспомнила Ольга детскую дворовую считалку и возгласы довольных детей, показывающих на нее пальцем и ехидно кричащих: «Ты во€да! Ты во€да!» Почему-то ей чаще других приходилось водить: не важно, была ли это игра в прятки, или в двенадцать палочек, или в казаки-разбойники. Обижаться было бессмысленно, оставалось делать вид, будто все происходящее тебе страшно нравится. Перескакивая через бордюрные камни, бежать за кривляющимися ребятами, улепетывающими в разные стороны. Теряясь, за кем бежать, оставаться на месте и, нарываясь на возмущенные вопли, снова оставаться во€дой и снова делать вид... Ольга подумала, что ей всю жизнь приходится делать вид, ее натурой стало притворяться. Притворяться, что тебе хорошо, притворяться, что ты довольна и счастлива, притворяться, что тебе не больно... Со временем чувства и впрямь атрофировались, внутри перестало зудеть и биться нереализованное нечто, чему Ольга так и не нашла объяснения. Все ее время занимала дочь Клабочка, которая могла стать счастливой, умной, способной дерзать и подняться над бытовыми вещами и обрести нечто большее, какой-то цельный жизненный смысл существования, который Ольге так и не удалось нащупать.

Николай

Коля, который сейчас лежал, вернее, висел в полураспластанном положении над больничной койкой, был любимцем и баловнем Елены Владимировны, бабушки, рос под ее неусыпной опекой, пока Ольга истово выхаживала слабенькую недоношенную Клавочку. Странно, но любившая больше всех на свете себя Елена Владимировна вдруг обрела смысл жизни во внуке, о котором заботилась больше, чем о ком-либо другом.

– Тише, Николенька только заснул, – шикала она на Ольгу, когда та пыталась укачать дочь.

– Мама, у нее режутся зубки!

– И что? А Николеньке завтра в школу! Мальчик должен высыпаться.

– Что я могу сделать?

– Возьми коляску и пойди на улицу. На свежем воздухе укачаешь, она и уснет.

– Но уже одиннадцать часов!

– Вот-вот, а Николеньке вставать в семь утра!

– Мама, ты что?

– Ничего. Ты и завтра выспишься. Ишь, совсем о сыне не думает. Зачем тогда вообще рожала? Выскочила замуж за первого встречного, теперь расхлебывай. Ни образования, ни денег, ни культуры, свекровь – сволочь безграмотная, швея-мотористка. Куда смотрела-то? С матерью ей плохо было! Замуж захотелось! Или тебе там скреблось, что ли? Ты посмотри, на кого похожа стала! Я в твои годы за собой следила, а ты как старуха ходишь. – Мать поджала губы и покачала головой. – И в кого такая уродилась? Надеюсь, Николенька-то в деда пойдет, он мальчик неглупый. Хоть его на ноги поставлю, человеком сделаю. Чего стоишь? Одевайся, иди на улицу. И заткни ты ее ради бога, весь дом перебудишь!

Ольга укутывала Клавочку и выходила во двор. Гуляя по темным улицам, напевала вполголоса колыбельные, чувствуя единение со своей дочерью, с которой в это время они были одни в целом мире. Пухлые младенческие щечки розовели, маленький носик-кнопочка посапывал, девочка видела сны и улыбалась. Ей этот мир, похоже, очень нравился.

Внутренние монологи. Николай

Мне всегда очень не хватало мамы и папы. Я думал, что я какой-то нехороший, бракованный, и очень боялся, что меня сдадут в детский дом, куда сдают всех ненужных детей. Папа всегда делал вид, что меня просто нет. Когда я подходил к нему, просил помочь сделать уроки, он, отложив газету, равнодушно говорил: «Не видишь, я занят? Попроси маму или сделай сам. Ты уже большой», – и опять отгораживался от меня бумажной стеной. Мама... Я все ждал с замиранием сердца, когда она придет целовать меня на ночь: вдруг не уйдет сразу, через секунду, вдруг останется, погладит по голове, пригласит забраться к ней на коленки, как маленькому, почитает сказку? Я знал, что тут же раздастся требовательный вой Клавки и мама убежит к ней, но мне так хотелось, чтобы хоть раз она помедлила и как-то дала понять, что любит и меня, что и я нужен ей. Когда Клавка родилась, я сразу понял, что она хитрая. Эта девчонка умела играть с рождения, и у нее это хорошо получалось. Она так ловко отодвигала меня на второй план, что было бесполезно пытаться что-то изменить. Хорошо, что со мной всегда была бабушка, которая рассказывала много интересных историй, читала книги, водила в музеи, зоопарк, планетарий, возила на море. Бабуля научила меня плавать и любить книги. Но мама всегда оставалась недостижимой богиней. Ее фотография висела над моей кроватью, и я часто вглядывался в ее лучистые глаза, мечтая, чтобы она смотрела на меня таким же сияющим взглядом. Я прятал свою боль, вынашивал ее, как маленькую жемчужину, в глубине створок своего сердца, наращивая на нее новые слои обид. Любая моя радость была приправлена горечью и желчью. Я стал хуже учиться и вызывать огонь скандалов на себя, думая, что хоть так ОНИ увидят меня. Но ОНИ были слепы. Они всегда были слепы.

Когда Елена Владимировна умерла, Колю как подменили. Если раньше он был вполне жизнерадостным и более-менее нормально учился, то после смерти бабушки стал злобным и неуправляемым, срывался и на родителей, и на сестру, и на сверстников, не говоря уже об учителях. Серьга в ухе, длинные, травленные пергидролем волосы, татуировка в виде хищного окровавленного монстра, кожаные штаны, купленные на сворованные у матери гроши... Потом странные приступы головокружения, потери сознания, эпилепсии. Даже врачи признали, что к армии этот молодой человек явно не годен. Связавшись с уличной шпаной, он чуть было не загремел за решетку за причинение тяжелых травм одному из подростков. С трудом удалось доказать, что он вроде как ни при чем. Хотя Ольга уже не знала, кому и чему верить, собственный сын внушал ей страх. Она постоянно задавала себе один и тот же вопрос: «Почему?» Почему это все случается с ней? Ее ли собственные грехи этому виной или грехи родителей, за которые расплачиваются и дети аж до седьмого колена? Как часто хотелось ей посидеть где-нибудь в парке, лишь бы не возвращаться в квартиру, и бессильно зарыдать...

Буквально через несколько месяцев после истории с избиением – новое происшествие. Первого января Николай поехал в гости к своей подруге Кате, которую знал с детства. Ольга надеялась, что рано или поздно сын на ней женится, потому что девочка была из хорошей семьи, сама, без чьей-либо помощи поступила в институт, подрабатывала по вечерам официанткой и к тому же страстно и безрассудно любила Николеньку. Поэтому, когда сын не явился домой ночевать, Ольга не удивилась – молодой паре в двадцать-то лет есть чем заняться, не сидеть же все праздники с родителями! А что не позвонил, так тоже не диво, особым вниманием сын мать не баловал. Но ни второго, ни третьего января Николай не объявился. Потеряв терпение, четвертого числа мать позвонила Катюше, но та с удивлением сказала, что Коля поехал домой в тот же, первый день нового года. Снизу, откуда-то из живота поднималась

паника. Кисловато-медный ее привкус ощущался столь явственно, что Ольга тут же схватилась за кружку с давно остывшим чаем, горечь крепкой заварки немного привела ее в чувство.

В дверь позвонили. Незнакомый парнишка с трудом удерживал скорчившегося и мычащего Колю.

– Ваш? – спросил парень.

– Мой! – ахнула Ольга.

– Давайте помогу дотащить до постели. Куда его? – Парень поволок Николая в глубь квартиры и свалил на диван.

За заботами и попытками привести сына в чувство Ольга не заметила, как парнишка исчез. Много позже она ругала себя за то, что так и не узнала, где он нашел Николая, откуда его знает, не выпытала хоть каких-то подробностей. Но то было позже.

Ольга трясла сына за плечи, но тот жалобно лопотал что-то нечленораздельное, закрывался от света, прятал голову под подушку и сжимался в комок, отталкивал материнские руки, не давал стащить с себя грязную, скукоженную, дурно пахнущую одежду. Лицо его страдальчески морщилось, и из груди рвался странный хриплый клекот. Единственное, что смогла различить Ольга, это слова «свет» и «не бейте меня». Приехавшая «скорая» увезла парня в психбольницу, определив потерю памяти, частые приступы эпилепсии, светобоязнь, а также многочисленные ушибы и порезы по всему телу и воспаление легких.

Муж, глядя на сына, брезгливо сказал:

– Это не мой сын. Твоя порченная кровь, или приبلудила с кем.

– Ты что говоришь-то? Опомнись!

– Туда ему и дорога, в психушку. Здравенный балбес, а сидит у нас на шее, окаянный. Лучше б сдох.

– Ты... ты... – Ольга набирала в рот воздух, но слова не шли на ум.

– Что я? Посмотри на этого ублюдка! Ты все фантазируешь, ждешь, когда он повзрослеет, а ему очень хорошо живется, он и не думает что-то менять в жизни. – Муж поддернул сваливающиеся обвислые тренировочные штаны и, шлепая заскорузлыми голыми пятками по серовато-коричневому пятнистому линолеуму, ушел в комнату – смотреть чемпионат по футболу.

Внутренние монологи. Антон Лупарин

Мама абсолютно права. Зря я на ней женился. Ходит как распустеха, за собой совсем не следит, до нее же даже дотрагиваться неприятно, не красится, голову редко моет – все плечи в перхоти, как пеплом присыпаны. А сын? Кого воспитала? Ничтожество. Он же без нас шагу не сделает, палец о палец не ударит, лентяй. Я в его годы о-го-го как вкалывал! И грузчиком подрабатывал, и за любую работу брался, чтобы лишний грош заработать и никому в тягость не быть. Вот помрем мы, божжом окажется на помойке, подохнет как последняя скотина, другого пути у него нет. Теща избаловала пацана. На нас рычала всю жизнь, что я ее доченьке не пара, а на доченьку ни один нормальный мужик не посмотрит, побрезгует. Вся жизнь насмарку. Чего я достиг? Приходишь вечером с работы уставший, хочешь отдохнуть, телевизор посмотреть, а тут то сын пропал, то его посадили, а то еще дочь пристаёт: «Папа, дай денег» – или у жены ревматизм... Даже поесть никто не разогреет. К маме придешь – совсем другая картина: тут же тебе и супчику нальет, и мясца нажарит или котлеток навертит, и носки теплые свяжет.

А дача? Все выходные на ней как ненормальный пащу, потом разогнуться не могу, дочь с сыном хоть бы раз что сделали: ни картошку посадить, ни окучить, ни дров порубить не могут. Клава все о заграницах мечтает, только о тряпках и думает. А что назвали Клавдией, в честь моей бабушки, знатная стахановка была, на весь район имя гремело, так что э, эта-то явно не в нашу породу, хоть и хваткая, а все мамашкина дочка. Смешно вспоминать об их рассказах, как, дескать, они раньше жили. Профукали все – вот тебе и итог. Уйду я от них, достали совсем, мочи нет. Интеллигенция, бя...

При всем том, что Ольга знала своего мужа и особо на его счет не обольщалась, такого она никак не ожидала. Отказаться от собственного сына, который просто твоя копия? Не видеть и не замечать очевидного? Не иметь в душе и сердце пусть не любви, но хоть капли жалости?

Только Клавочка сочувственно похлопывала мать по плечу, капая ей на сахар валерьянку, да еще позвонила маминой подруге, чтобы та пришла утешить в горе. В утешении других некоторые находят невыразимое блаженство, потому что это позволяет чувствовать себя гораздо увереннее, счастливее, благороднее. Вот, мол, как бывает. У нас-то еще все хорошо, оказывается. Да и помогла я ей, хоть и сама без гроша, сирота горемычная, в доме – шаром покати. Оглядывая квартиру, которую дали Ольге с мужем и детьми в новом доме (по слову пятиэтажек), завидовать метражу (целых семьдесят восемь метров, и все этим недотепам!), а вслух произносить только: «Да, милочка, эти муниципальные обои такая мерзость! Цвет первой детской неожиданности их совсем не красит. Да и кто придумал клеить обои на потолок? Вы бы их поменяли. Нельзя же так жить, это отрицательно действует на психику и нарушает обмен космическими внеземными энергиями. Я вам искренне советую сменить обстановку. Вы и всю старую мебель, я смотрю, перевезли? Ой, у вашей табуретки отламывается ножка. Предупредить же надо! Я теперь вряд ли рискну присесть! Что, на диван? Но, Оленька, из него так торчат пружины, что я чувствую себя принцессой на горошине, а вернее даже, принцессой на арбузе. Ха-ха-ха! Надеюсь, я смогла тебя хоть немного ободрить?! Ну, звони, милая, если что, поболтаем. Денег? Нет, извини, денег у меня нет. Я только что купила новую стенку, да и мой Феденька давно мечтает о мотоцикле. Всё же парнишке скоро двадцать один, надо на день рождения подарить. Ой, заболталась я с тобой! Побегу!»

Когда Николай пришел в себя, он так и не смог вспомнить, где провел эти четыре дня. Смутно, будто во сне, грезилось, как шел от Кати и вроде бы зашел в метро, чтобы ехать домой... Потом провал. Только временами сквозь пелену забытья различал он звук – стук

колес поезда. Говорят, память избирательна – она блокирует страшные воспоминания, чтобы не травмировать психику. Кусочек мозга, отвечающий за те новогодние дни, был заблокирован прочно. Именно тогда Николай заработал пиелонефрит, да еще долго кашлял, свистел и задыхался, несмотря на сильные антибиотики и специальные травяные отвары. Но никому – ни врачам, ни матери, ни сестре или друзьям – не рассказал Николай о своем странном, пугающем реальностью пережитого сне, который за эти четыре дня стал его постоянным спутником.

Бестиарий

Спуск в Аид отовстоду одинаков.

Анаксагор из Клазомен

(ок.500–428 до н. э.)

Багрово-красный льняной веларий¹ над Колизеем разворачивался с тихим и вкрадчивым шелестом. Зрители, пробиравшиеся к своим местам, невольно поднимали голову, чтобы взглянуть, как одна за другой распрямляются складки на гигантском полотнище. Вскоре осталась открытой лишь арена, тогда как само полотнище покоилось на двухстах сорока столбах, поддерживающих эту грандиозную конструкцию, управляемую моряками императорского флота. Именно они, знающие, как управляться с парусом, были ответственны за веларий. Арена, посыпанная песком, сияла девственной чистотой до той поры, пока не начнутся бои и не прольется первая кровь, возбуждая своим видом и запахом толпу и побуждая соперников к более яростным поединкам.

Гладиаторы ждали в куникуле². Вот-вот должна была начаться помпа³, во время которой, все до единого, они выйдут на арену и, глядя на императора, вскинут правую руку и под неистовый рев толпы воскликнут: «*Ave, Caesar, morituri te salutant!*»⁴

Эномай злобно смотрел на Ганника. Вчера тот прилюдно оскорбил его в триклинии⁵, причем дважды: сначала усомнившись в его мужской силе и эрекции, а потом придравшись к тому, что тот во время обильного ужина не срыгивает пищу, как большинство римлян, а значит, обладает слабым и немощным желудком, соответственно и в остальном сила Эномая под большим вопросом. Ганник поигрывал мышцами, и на его довольном лице царила презрительная самодовольная усмешка. Время от времени он клал руку себе на промежность, словно подтверждая этим мужскую свою суть и подчеркивая силу самца-лидера. Эномай с удовольствием убил бы его прямо на месте и с трудом сдерживался, дожидаясь начала игр, чтобы всю свою бурлящую ненависть пустить в дело, победив и растоптав противника. Затеять ссору до начала боя – страшное преступление, каравшееся плетями и кандалами. Это было невыносимо. Жизнь приучила гладиаторов к жесткой дисциплине.

Никос смотрел на Эномай и Ганника и удивлялся тому, что такие же, как и он, люди могут быть злобными и жестокими свиньями, готовыми унижить друг друга, опозорить даже перед лицом смерти. Самому ему подобное поведение было чуждо. Идущий на смерть прекрасно представлял себе ценность человеческой жизни, но так уж сложилась судьба.

Ходили слухи, что смуглокожего крепыша Ганника, по прозвищу Катон⁶, ланиста⁷ торговал у стражников по пути на предварительный допрос по поводу причастности к разбойничьей шайке. Сам Ганник этого не отрицал, стараясь корчить наиболее зверские рожи и вести себя совершенно безобразным образом, дабы укрепить сложившуюся репутацию.

Убивал Никос без особой печали, но и радости никакой не испытывал, не возбуждался от запаха крови, не размазывал ее по лицу, не облизывал окровавленные пальцы, дразня и возбуждая толпу. Скорее, он убивал красиво. И когда перед ним встал вопрос о выборе школы,

¹ Веларий – навес над амфитеатром.

² Куникул – помещение под ареной.

³ Помпа – торжественная процессия перед началом игр или скачек.

⁴ «*Ave, Caesar, morituri te salutant!*» (лат.) – «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!»

⁵ Триклиний – столовая.

⁶ Катон – ловкач, прозвище гладиатора.

⁷ Ланиста – управляющий школой гладиаторов.

не колеблясь, выбрал Утреннюю⁸, чтобы стать бестиарием⁹. Обучение там было более длительным, чем в обычной гладиаторской школе, так как требовало специальных знаний и навыков, большей внимательности и подвижности.

Вступив в школу, каждый гладиатор был вынужден следовать жестким законам чести. Во-первых, абсолютное молчание на арене – гладиаторы могли изъясняться лишь жестами. Второе – полное соблюдение законов чести: гладиатор, упавший на землю и сознающий свое окончательное поражение, был обязан снять защитный шлем и подставить горло под меч противника или же вонзить нож в собственное горло.

Никосу повезло. Зрители воспринимали его выходы на арену овациями и не скупилась на подарки. Ловкий и изящный, как греческая статуэтка, голубоглазый венецианец Никос по прозвищу Руф¹⁰ был похож на златовласого Фавония¹¹, такого же легкого и стремительного, такого же неуловимого и быстрого. Выходец из бедной семьи, он добровольно пошел в гладиаторскую школу, чтобы заработать для своих родных денег, в надежде на лучшую долю. Правда, сначала он противился этой идее, подкинутой матерью, но по прошествии некоторого времени смирился, осознав печальную необходимость, и больше об этом не задумывался. Иногда все происходящее казалось ему какой-то нелепой игрой, паллеатой¹², во время которой актеры нелепо двигаются на своих котурнах¹³ и так же нелепо плачут, смеются, умирают. Иногда ему представлялось, что и вся эта его жизнь – понарошная, что когда-нибудь он проснется, побежит к маме и, захлебываясь, расскажет ей о своем странном и тягучем сне. Но каждый раз, просыпаясь, он видел ту же серую каменную стену своей конуры: ничего не менялось. Только светлая арка выхода говорила ему, что он еще жив и не замурован в свою прижизненную могилу.

Во время обучения всех гладиаторов сытно кормили и хорошо лечили, а немислимые физические нагрузки были только благом для молодого здорового тела, ищущего выхода адреналина. Так что тренировки, продолжавшиеся с утра до самого вечера, были в тягость Никосу только первые полгода: потом, втянувшись, он даже стал получать удовольствие от них. Фехтование, владение мечом, дрессировка диких животных – все это стало частью его жизни.

С самого утра, вооруженные деревянными мечами и сплетенными из ивовой лозы щитами, выходили новички на тренировку ко вкопанному в землю деревянному колу, чтобы наносить четкие и точные удары в воображаемые грудь и голову противника, не раскрываясь при этом самому. После деревянного гладиаторы учились работать железным оружием, делавшимся нарочно в два раза тяжелее боевого. Учились и дрессуре диких животных, изучая их повадки, и способам умерщвления оружием или голыми руками.

Самым неприятным моментом при вступлении в школу была необходимость принятия присяги и объявления себя «юридически мертвым». Никос не мог и не хотел ощущать себя мертвым, пусть даже «юридически». Он никогда еще не чувствовал себя настолько живым, как сейчас. Только временами мертвел душой, вспоминая мать и сестру, пришедших на его первый бой в Колизее: странное стеклянно-равнодушное выражение их глаз больно кольнуло сердце. Они смотрели на него как на мертвого, заранее мертвого. Никос вспоминал поверья, связанные со смертью гладиаторов, и ему становилось жутко. Вспоминал о том, что священную кровь умерших гладиаторов давали больным эпилепсией, свято веря в ее лечебные свойства, а невесты, выходя замуж, втыкали себе в волосы шпильки, смоченные кровью убитых, так как считалось, будто это сопутствует счастливой и богатой семейной жизни.

⁸ Утренняя школа – там готовили бестиариев, гладиаторов, сражающихся с дикими зверями.

⁹ Бестиарий – гладиатор, сражающийся с дикими зверями.

¹⁰ Руф – рыжий, прозвище гладиатора.

¹¹ Фавоний – бог западного ветра, в Греции – Зефир.

¹² Паллеата – латинская комедия на греческий сюжет.

¹³ Котурны – обувь на высокой подошве, в которой выступали актеры античного театра.

Единственный друг Никоса, бестиарий Марк, с которым они делили на двоих четырехметровую комнатку, как-то заметил, что ничуть не удивится, если сестра Никоса, красавица Клодия, постарается побыстрее подбежать к умирающему брату отнюдь не для того, чтобы положить его голову себе на колени и пролить последнюю слезу над его телом, а чтобы окропить свои шпильки кровью. Марк тоже был свободнорожденным, но, в отличие от Эномая и Ганника, спокойным и уравновешенным, всегда четко просчитывал ситуацию и имел хорошие шансы дожить до того момента, когда приличное состояние и громкое имя позволят ему с честью выйти на покой. Никос уважал своего друга, прислушивался к его советам на тренировках и старался подмечать приемы, виртуозно проводимые при схватках с медведями, львами и леопардами. Необычайная гибкость и ловкость Марка служили предметом восхищения и зависти всей Утренней школы.

Сегодня Никосу предстояло ехать в колеснице, запряженной львами, и сражаться с носорогом.

Еще с вечера, во время пира, Никосу стало не по себе. Странное тянущее и сосущее ощущение пустоты под сердцем мешало насладиться едой, вином и разговором с Марком. Тот, видимо, понял состояние друга: ободряюще похлопав его по плечу, не стал приставать с разговорами и сделал вид, будто ничего не происходит. Уже ночью, глядя на звездное небо, Никос задумался о своей жизни и о том, что у него до сих пор так и нет девушки, которой ему хотелось бы дарить подарки, брошенные щедрыми зрителями к его ногам. В мечтах он уносился в неведомое будущее, но там было темно, ничего не видно и не слышно: ни силуэта любимой, ни шелеста ее платья, ни звонкого ее смеха. Все подарки доставались Клодии.

А из нашего окна...

«А из нашего окна площадь Красная видна...» – декламировала Оленька, гордо выпятив грудь со свежеприколотым к белому фартучку значком октябренька, выступая на школьной линейке. Действительно, из ее окна была видна Красная площадь, и во время Первомайской демонстрации и в День Победы девочка радостно махала с балкона праздничным флажком проходящим колоннам демонстрантов или веренице железнобоких танков и артиллерийских орудий, грузно ползущих по сотрясаемой ими мостовой. За несколько недель до праздников ночами по улице Горького ездили танки, репетируя парадный торжественный выезд, на который будет, замирая, смотреть весь мир. Их тяжелая мощь сотрясала стены домов, мешая спать измученным жильцам. Оконные стекла вибрировали и гудели тревожно и настырно, впуская низкий грозный гул в пространство квартиры и, казалось, в самое чрево людей. «Зато центр, – вздыхая, говорила бабушка. – Можно и потерпеть».

Потом, ближе к вечеру, когда уже не так сурово смотрели на нее со стен Центрального телеграфа портреты великих вождей, Оленька выбегала на улицу и вливалась в радостно гомонящую толпу, водила со всеми хоромы, плясала, играла в ручеек и верила, что не за горами светлая пора коммунизма, ну а сейчас – сейчас тоже очень хорошо, потому что так здорово, когда незнакомые люди, улыбающиеся и радостные, дарят ей конфеты, воздушные шарики и прыгают вместе с ней, разделяя всеобщее ликование. Раскрасневшаяся, счастливая Оля прибегала домой, и любимая бабушка, мамина мама, Инна Яковлевна, доставала из духовки испеченные к празднику вкусно пахнущие пирожки с капустой, яблоками, мясом, вареньем, обжигаяще вкусные, горячие пирожки, которыми так приятно делиться с соседями.

Еще она любила сбегать с подружками в соседний двор, для того чтобы перелезть через забор и буквально на скорость, наперегонки скакать по громыхающим крышам, залезать в окна заброшенного разваливающегося дома, шуршать там забытыми старыми бумагами и выцветшими черно-белыми фотографиями, слепками с чужой жизни, уже никому не нужной... В этом было что-то болезненно порочное и восхитительное одновременно – заглянуть в чье-то прошлое, коснуться рукой облезшей кожи обою, присесть на постанывающий и разваливающийся стул, обнаружить под изодранной газетой скособоленную туфлю с наивной позолоченной пряжкой и стоптанной подошвой... А потом, услышав посторонний шорох, моментально рвануть через окно наружу, к свету и воздуху, быстро, маленькими перебежками по краю, цепляясь пальцами за малейшие выступы, передвигаться по тонкому бор-дюру с одной крыши на другую, чтобы потом спрыгнуть вниз и под завистливые вздохи оставшихся во дворе на твердом и устойчивом асфальте отправиться в изодранных штанах домой, ощущая себя отважной амазонкой, великим путешественником и вождем племени команчей одновременно.

Позже, когда Оленька немного подросла, она открыла для себя еще одну важную тайну. Оказывается, за ней по пятам ходит солнце и светит для того, чтобы ей, Оленьке, было радостно. А это значит, что, когда она еще чуть-чуть подрастет, непременно явится принц, чтобы предложить ей руку и сердце, и тогда... Тогда безоблачное и счастливое будущее, ее славные дети, интересная работа – все сбудется. Пусть сейчас милый одноклассник Женя с загадочной фамилией Левинтант, с бархатными карими глазами и пушистыми ресницами скользит взглядом мимо, не замечая, как подгибаются Олины коленки и дрожит, гулко бьется взволнованное ее сердечко; но через миг, который надо прожить и перетерпеть, все изменится, и тогда она расцветет неземной улыбкой, даря ее всему миру, чтобы мир улыбнулся ей в ответ. Долгие задушевные прогулки с подругой по переулкам Старого Арбата, по его неровной булыжной мостовой, рассказываемые взахлеб невинные тягучие сны, нежный пушок на коже щек, как пушинки только что вылупившейся вербы, ожидающий первого робкого поцелуя,

застывшая в нерешительности рука над трубкой молчащего телефона – всего этого нынешняя Оленька старалась не вспоминать, как и многого другого из прошлой, уже чужой жизни.

Отец

Когда папу внезапно уволили с работы, в доме начались скандалы. Мать Оли, Елена Владимировна, была огорошена внезапным изменением их социального статуса и видела в этом безалаберность и слабоволие мужа, который совершенно не понимал, в какую бездну бросил вот так, вдруг свою семью.

– Ты понимаешь, что ты наделал? – Слюна летела изо рта Олиной мамы и попадала прямо на щеки Геннадия, который украдкой вытирал их тыльной стороной ладони. – Утирается! Ты у меня сейчас утрешься! Ты подумал о своей семье? Ты о дочери подумал? Ей еще в институт надо поступать!

– Можно подумать, ты много думаешь о семье и заботишься о дочери! Прекрати, Лена, не нервируй девочку! Давай не при ребенке.

– «Не при ребенке!» Пусть знает, какой у нее отец! – И обратившись к дочери: – Ольга, посмотри на него! Твой папа – полный кретин. Запомни это!

– Мама, не надо! Он хороший. – Оля бросилась в объятия к отцу, пытаясь закрыть его от матери телом. – Не ругайтесь! Мама, папа – добрый, просто так получилось... Все наладится.

– Много ты понимаешь! – взбесилась мать. – Иди в свою комнату и делай уроки. Вся у отца пошла, такая же недотепа! Хоро-о-о-ший!

Эти сцены повторялись изо дня в день, почти не меняясь. Геннадий Александрович Гурин, отец Оли, жалобно морщился от пронзительного несмолкающего визга жены и поспешно уходил из дома – в Александровский сад. Там он часами сидел на лавочке, бездумно глядя вдаль или сухо шурша ломкой газетой, до той поры, пока не зажигались тусклые фонари, излучая рассеянный свет на деревья, прохожих, дорогу, мраморные плиты по бокам от распятой звезды с Вечным огнем.

Он вспоминал о том, как они с Леной познакомились в крымском пансионате «Приморский». Вместо того чтобы, как многие отдыхающие, загорать на пляже или плескаться в мутной соленой морской воде, он пошел гулять. Хотелось спокойствия и уединения вместо смеха, криков и визгов, вместо игры в мяч или в бадминтон и тому подобных развлечений. Его всегда тянуло к тишине. Геннадий, сколько себя помнил, любил читать русских и зарубежных классиков, слушать камерную музыку, просто гулять в лесу. Родители его были людьми образованными и интеллигентными. Отец преподавал латынь в институте, мать – учительница русского языка и литературы в школе. Они никогда не ругались, не выясняли отношений, не били посуду, а существовали в гармонии, словно были едины душой, духом, прощая друг другу мелкие прегрешения, а может быть, и вовсе не видя их.

Каково же было удивление Гены, когда, выйдя к огромному, красиво колышущемуся от ветра маковому полю, в зыбком от жары мареве, в плотно подрагивающем воздухе он увидел маленькую фигурку в ситцевом платьице. Девушка с длинными неприбранными волосами медленно шла к нему через поле, подняв голову к небу и нежно касаясь пальцами полупрозрачных шелковых лепестков мака. Геннадию представилось, что он видит сейчас полотно некоего художника, каким-то чудом ожившее, показалось, будто это небесный знак свыше. Он стоял и завороченно смотрел на девушку, боясь окликнуть ее, чтобы не нарушить очарование момента. Когда она, не видя Геннадия, внезапно ткнулась с размаха ему в грудь, он засмеялся и осторожно поддержал ее за плечи. Она не испугалась.

– Как вас зовут, видение?

– Лена, – смутилась девушка, и щеки ее запунцовели.

– А я – Гена. Вы были так прекрасны, когда шли через это поле... Жаль, я не художник.

- Ну что вы, я совсем не подхожу для картины, – кокетливо ответило «видение».
- Еще как подходите! Можно я вас провожу?
- Да, пожалуйста.
- Вы отдыхаете тут или живете? – заинтересованно смотрел на нее Геннадий.
- Отдыхаю. В «Приморском». А вы?
- И я. Вы одна?
- Нет, с мамой.
- А я один. Не хотите вечером составить мне компанию и сходить погулять к морю?

Маму вашу я тоже приглашаю.

- С удовольствием.

Геннадий Иванович сидел на скамейке и пытался понять, что же изменилось с тех пор. Почему они стали чужими друг другу и практически не разговаривали? Как ни странно, сейчас он стал чувствовать некоторое облегчение, словно застарелый нарыв, терзавший его так долго, наконец прорвался и истек гноем, выпустив наружу всю ту гадость, которая копилась. Можно было больше не терпеть это невыразимо надменное лицо жены, не вглядываться в ее глаза, тщетно надеясь найти в них отсветы того голубого неба и нежность тех маков.

«Она не любит меня, – осознавал каждое утро Геннадий. – Невозможно, любя человека, становиться такой страшной и уродливой, прятать все то естественное и красивое, что в тебе есть, выставляя наружу внутреннюю часть мистера Хайда. Или... – Он вспомнил книгу «Портрет Дориана Грея», которая произвела на него в свое время сильное впечатление. – Или это что-то другое и оно всегда было у нее внутри? Но почему? Это я виноват? Я? Бедная Оленька! Мы с женой – чудовища. Каждый по-своему. А я виноват перед обеими».

Последнее время сердце кололо, но Геннадий не обращал на это внимания, списывая боль на увольнение, депрессию и моральный перегруз. Потерев ладонью грудь, он отвлекся, наблюдая за молодой парой, которая, взявшись за руки, медленно брела по парку. У них были такие влюбленные глаза, что становилось и завидно, и немного тревожно, и обжигающе больно за себя, за растраченную впустую жизнь, за это умершее счастье и квартиру, загроможденную коврами, люстрами, чешскими стенками, дурацкими статуэтками, – квартиру, в которой нет звящего радостного смеха и нет жизни.

Оле было нестерпимо жаль отца, и она старалась подластиться к нему, подсовывая под большую руку свою белесую головку и замирая от усталых его вздохов. В один из таких дней, когда матери не было дома, Геннадий Иванович попросил Олю зайти в комнату.

– Сядь, малыш. Я хочу подарить тебе кое-что. – Он открыл небольшой потрепанный самодельный кожаный футляр и бережно извлек из него старинные часы-луковицу на цепочке. – Знаешь, Олюша, эти часы достались мне от отца, а ему от его отца, твоего прадеда. Я никогда не интересовался, имеют ли они какую-то материальную ценность, потому что они для меня значимы именно тем, что они наши, наследственные. Впрочем, есть у меня предположение, что они недешевы, а может, даже и дороги. Ты, детка, спрячь их и никому не показывай. Они теперь твои.

- Спасибо, папочка! Может, лучше, чтобы они были у тебя?

– Нет, Олюша, я знаю, что так надо. Если сможешь, не продавай их, передашь потом своим детям. Это память.

- Хорошо, папочка.

- А теперь иди, детка, я немного посплю. Устал я.

Как-то в одночасье отца не стало – обширный инфаркт свел его, еще не старого человека, в могилу. Бывшие друзья и коллеги Геннадия Ивановича по работе удивительно быстро исчезли с горизонта, не явившись даже на похороны. Оля долго рассматривала спокойное и умиротворенное лицо отца, будто бы разгладившееся после смерти. Немного осунувшийся, но помолодевший, он лежал в черно-красном гробу с таким достоинством и даже радостью, словно ему теперь уже стало легче. Настал финал. Любви. Жизни. Всего. Посеребренные седой виски ласково грело солнце, но оно уже не могло заставить человека проснуться, зажмуриться от яркого света, встать. Но его лицо стало для Ольги вдруг чужим, словно это не отец, а кто-то похожий на него лежал тут неизвестно зачем, словно это неудачная первоапрельская жестокая шутка, и вот сию минуту должен раздаваться звук родного голоса, и из-за чьей-то спины выглянет лукавая отцовская физиономия, и он скажет: «А здорово я вас разыграл, а? Напугались?» Но ничего не происходило, и душная атмосфера гнетущего недоумения все никак не рассеивалась.

Зияющее «окно», в которое быстро и неловко опустили гроб на веревках... потом глухо стучавшие о крышку гроба комья черной жирной земли – и вот уже вырос холмик, на который кто-то водрузил кричаще-аляповатый пластмассово-бумажный венок с вычурными и пошлыми розами, бесстыдно-грубыми и неуместными, как сочетание понятий «буффонада» и «смерть».

«И это все? – думала Ольга. – Неужели вот так просто, быстро, нелепо кончается человеческая жизнь? Я представляла себе это несколько по-другому, более торжественно, более печально и благородно, а тут... все какое-то стыдное, спешное, неуклюжее... Словно и не было ничего, никогда. Не жил человек, не творил добра, не пел песен, не шутил, не целовал жену, детей, не мечтал о чем-то... Даже если ты и не был атеистом, то поневоле им станешь, когда увидишь церемонию погребения. Переход в другой мир должен быть иным, не таким прозаичным, холодным... Да и где справедливость? Уходят люди, которые тебе очень нужны, дороги, уходят раньше срока, а другие копят небо до глубокой старости...»

Ольга долго еще вздрагивала, увидев на улице похожий на отцовский силуэт, обгоняла, оглядывалась и уныло шла прочь. Это стало превращаться в манию, в болезненную игру, и тогда она стала твердить себе по ночам, что отец умер, но что так ему лучше, что все люди смертны, и это закон жизни, и рано или поздно умрет и она, Ольга, что страдание ни к чему не приведет, не вернет ей папу, что надо смириться и жить дальше. Она заставляла себя не бежать, не искать его на улицах, не вглядываться в глаза и лица, не обманывать себя больше.

После смерти папы Ольга замкнулась и начала смотреть на мать злыми глазами. Та же была в прострации: жена высокопоставленного чиновника, до этого она жила припеваючи и никогда не помышляла о работе. Слова «стаж», «пенсия» были для нее в диковинку в противовес приятным словам «спецраспределитель», «чеки», «Березка». Поэтому совершенно закономерно то, что пара аферистов уговорила ее менять квартиру на меньшую в спальном районе, но с большой доплатой. Доплаты она так и не увидела, но теперь они с Олей и бабушкой Инной вынуждены были ютиться в крошечной двушке в спальном районе.

Закончились поездки в пионерский лагерь «Артек» и санатории на роскошных черноморских курортах, в старинные, отделанные мрамором дореволюционные царские особняки с белыми колоннами. Теперь они не могли себе позволить ничего подобного. После девяти классов Оля пошла в педучилище, чтобы побыстрее стать самостоятельной, хотя учителя угваривали остаться и готовиться к институту. Однако жить с матерью стало совсем невозможно: ее характер день ото дня становился все более скверным, еще и оттого, что пришлось пойти подрабатывать вахтером в общежитие – больше же Елену Владимировну никуда не брали.

– Сидишь тут на моей шее, дармоедка! Вся в папашу пошла, бессловесная. Что глаза выпучила, как рыба? Думаешь, тебя кто такую замуж возьмет?! Раскатала губы!

Ольга молчала, зная, что спорить с матерью бесполезно. Тогда та заведется еще больше, поток ругательств и оскорблений еще долго будет слышен всему подъезду. Бедная бабушка тоже не рисковала вмешиваться, предпочитая включать на всю громкость новости и пить корвалол в надежде, что ее на сей раз не обидят и сердце не будет так мучительно сжиматься, глядя на обезумевшую и недобрую дочь. Инна Яковлевна, проработавшая всю жизнь чертежницей в конструкторском бюро, была человеком тихим и бесконфликтным, в этом плане Оленька пошла в нее. И пожилая женщина удивлялась, как так произошло, что Лена «случилась» совсем другой породы. Да, конечно, с мужиками в то время было тяжело – война обездолила и осиротила многих. Не стала исключением и их семья. Рожденная через несколько лет после окончания Великой Отечественной, дочь росла слабенькой, болезненной травинкой. Но тогда так жили многие. А ей, Инне Яковлевне, в общем, повезло. Попался на пути хороший человек, поддерживал, продукты приносил и хоть и не женился, поскольку уже имел жену и двух сыновей, но никогда не обделял их деньгами или какой другой помощью. Потом вот и зятя, Геночку, помог пристроить на тепленькое местечко, благодетель, с квартирой поспособствовал. Нет, грех жаловаться – хорошо жили, не ссорились.

Как-то раз сдуру Оленька рассказала матери про мальчика, в которого была влюблена, Женечку Левинтанта. Та подняла вой:

- Ты в жидовскую семью?! Никогда! У них там сплошные клопы на диване. Какая грязь!
- Мама! Женя даже не знает, что он мне нравится!
- И слава богу! Уж не думаешь ли ты, что я позволю этому случиться?!
- Чему? Ничего ведь нет!
- Даже не мечтай! Во-первых, они женятся только на своих жидовках, во-вторых, я не позволю. Прокляну, так и знай!

Елена Владимировна стала копаться в Олиных вещах, читать ее письма, записки, личный дневник, часто подделывала голос по телефону, выдавая себя за дочь, и говорила молодым людям гадости. У нее вошло в привычку, бесшумно ступая, подкрадываться к двери и прислушиваться к тому, что происходит в комнате, а потом внезапно приоткрывать дверь и лихорадочно оглядывать комнату в поисках чего-то запретного. Как-то раз она украла Олину записную книжку и позвонила родителям Жени, наговорив им гадостей. Конечно, в школе Олю стали сторониться и презирать, шептались за спиной и показывали на нее пальцами. Проходя мимо, Женя приподнимал бровь и ехидно усмехался, а сопровождавшие его одноклассники раздражались зловредным гогогом, отпуская дурные шуточки. В общем, о продолжении учебы речи идти не могло. Отверженная Оля бросилась подавать документы в училище. Хорошо, что там никого ничего не интересовало. Учились же там по преимуществу девицы, озабоченные в основном косметикой, колготками в сеточку и вопросом, когда и с кем переспать.

Открытая пинком ноги, дверь жалобно заворчала. Оля лихорадочно подскочила на кровати, на пороге стояла взбешенная мать.

- Ты куда, дрянь, мои деньги подевала, а?
- Какие деньги? – протирая глаза, недоуменно спросила Оля.
- Не притворяйся, тварь, ты прекрасно знаешь какие!
- Не знаю, я у тебя ничего брала.
- Хватит врать. И не стыдно смотреть мне в глаза?
- Мама, я не знаю, какие деньги! Ты о чем?

– Те, которые я спрятала в тумбочке, под фанеркой задней стенки!

– Я не брала. Посмотри еще раз.

– Я уже смотрела. Если ты сейчас же не вернешь мне их, я выгоню тебя из дома!

– Клянусь, я ничего не брала. Я ни разу в жизни не брала ничего без спросу!

– Ты меня слышала. Чтобы через полчаса деньги были на месте! – Мать резко повернулась и вышла, изо всей силы хряснув дверью, так, что с косяка посыпалась краска.

– Господи, – сказала ей вдогонку дочь, – лучше бы я умерла. Я как ничтожная безродная шавка, которая путается под ногами и которую можно пнуть побольнее в удобный момент! Спасибо за доверие, мамуля! – Девушка быстро оделась, собрала сумку и выскользнула из квартиры.

Когда она вернулась вечером, мать сделала вид, будто ничего не произошло.

– Ты нашла деньги? – в лоб спросила Оля.

– Да.

– Понятно.

Ольга вздохнула. Конечно, извиняться за грязную сцену матери просто не придет в голову. Хорошо хоть деньги нашлись. Могла и выгнать.

Перед глазами поплыли черно-радужные круги. С трудом добравшись до постели, не раздеваясь, как была – в джинсах и связанном еще бабушкой солнечно-желтом свитере, – Оля провалилась в мучительный липкий сон.

Сначала она бежала, задыхаясь от страха и ужаса, потому что сзади был кто-то страшный. Что-то ползло за ней, черное, клокочущее, опасное и коварное, похожее на огромную склизкую амебу. Потом Ольга открыла дверь и оказалась в совершенно другом месте. Странное помещение с узким коридором походило на тюрьму... Какие-то клетки... Некоторые из них были пусты, в других же томились люди. Кое-где на гвоздях висели цепи. Пленники были скованы наручниками и одеты в разноцветную лоскутную одежду, в чем-то театральную и нелепую. Окна нескончаемого коридора были заколочены деревянными досками, и если кое-где пробивался лучик света, пылинки тут же начинали плясать по тонкому его лезвию. Кое-кто из людей, выпускаемых из клеток по каким-то непонятным причинам, двигались перебежками, кривыми зигзагами к металлическим ящичкам в стене, похожим на банковские ячейки, воровато доставали что-то из ящичка и, уже подволакивая ноги, плелись обратно. Ольга удивленно спросила себя: «Что это? Почему я вижу это?» В ответ же услышала голос, прозвучавший в ее мозгу: «Это люди, томимые различными страстями. Это их комплексы. Их нереализованная любовь...»

Замужество

Когда Инна Яковлевна умерла, Оля недолго думая вышла замуж за первого попавшегося парня, который был ласков с ней и к тому же имел жилье. Одно время девушка даже была влюблена в суженого, в самом начале знакомства, когда он дарил ей цветы и пытался отвешивать неуклюжие комплименты, хотя и хватал ее при каждом удобном случае, больно тиская грудь. Тогда у нее внизу живота что-то теплело, поднимаясь вверх и согревая сердце. Ольге помстилось, что это любовь.

Жизнь со свекровью оказалась ничуть не лучше прежнего существования. Несмотря на то что Оленька почти сразу после свадьбы забеременела, свекровь, Кира Ивановна, продолжала есть ее поедом и нашептывать сыну, Антошеньке Лупарину, что еще, мол, не факт, что ребеночек-то его. Коленька и вправду родился белокурый – в маму, но черты лица и коренастая фигура были полностью отцовы. Тогда они и переехали обратно, к Олиной матери.

Елена Владимировна неожиданно подобрела и расцвела: внук полностью изменил ее и наполнил существование новым смыслом. Белокурый ангелок Николенька, счастье и отрада, баловень и солнышко, которого можно пестовать, покупать ему сладких сахарных петушков, изумрудно сияющих на ярком солнце, оттирая липкие ладошки носовым платочком; даже дырки на коричневых плотных колготах еще советского производства зашивались Еленой Владимировной с любовью. Вскоре она стала шить и вязать на заказ, а на вырученные деньги покупала дорогие книжки с глянцевыми страницами, необыкновенные игрушки да возила внука на море, правда, теперь уже снимала недорогие комнатенки в домишках-мазанках, где помещались только две кровати да маленькая тумбочка, а туалет и умывальник – на дворе. Впрочем, и все эти неудобства, и даже алюминиевый умывальник, прозванный в народе «Поддай, господи» за то, что приходилось сомкнутыми в ковшик ладошками нажимать снизу вверх на алюминиевую пимпочку, которая, приподнимаясь, давала пролиться нескольким драгоценным каплям ледяной колодезной воды, все это их не смущало – внук и бабушка были счастливы и дорожили обществом друг друга. Коленька отвечал бабушке такой же пламенной любовью, доверяя ей все свои детские секреты, которыми не делился ни с кем.

После появления в семье сестренки Коленька стал капризничать, требовать внимания родителей, изобретая разные способы, чтобы его заметили и приласкали: разобьет мамину любимую чашку, измажет грудную сестренку вареньем и скажет, что она съела всю банку, раскрасит фломастерами ковер на полу или изобретет что-то еще. Измученная Оля полностью перекинула сына на бабушку: то у Клавы начинался диатез, то резались зубки, то выскакивала простуда или грипп, а ведь еще надо было работать – туфельки и платица для «милрой лялечки», «принцессы» не падали с неба. Боготворя долгожданную доченьку, похожую на фарфоровую куколку, такую милую и прелестную с ее каштановыми кудряшками и ямочками на щеках, женщина забывала про сына, а вспоминая, уверялась в том, что бабушка заботится о Николеньке, и облегченно вздыхала.

Несмотря на радость от рождения дочери, уже тогда Оля стала отдавать себе отчет в том, что ее жизнь совершенно не похожа на придуманную ею в детстве сказку, однако, как ей казалось, изменить что-либо было уже невозможно. Ядовитый шепот свекрови просачивался, вливался ядом в сердце мужа, но Оленьке уже было все равно. Даже отдельные полки в холодильнике и отказ мужа кормить детей продуктами, купленными им для себя, уже не повергали ее в шок и отчаяние. Муж несколько раз уходил к матери, но неизбежно возвращался, виноватый и пристыженный. Какое-то время было тихо, даже появлялись деньги. Потом новый круг ада, за ним еще, и так виток за витком, виток за витком. Чувствуя бессмысленность и тяжесть

существования, Оля понимала: если бы не Клавдюша, отрада и единственный лучик надежды, было бы совсем страшно.

Учившаяся на одни пятерки дочь обладала железным характером и прекрасно знала, как добиться от родителей исполнения собственных заветных или мимолетных желаний. Хитрость, шантаж, слезы, болезни – все шло в ход, когда Клаве требовалась очередная обновка. Опушенные длинными ресницами глаза невинно смотрели на Ольгу. «Я тебя так люблю, мама! – говорила она. – Ты мое все! Мамусенька!» И та просто не могла устоять, теряя волю. Как-то забывалось о том, что Николеньке давно пора покупать новые брюки, да и муж уже седьмой год ходит в одном и том же пальто. Про себя Ольга вообще не вспоминала, зато Клава щеголяла нарядами, ходила в кино и театры и даже съездила со своим классом в Париж.

Внутренние монологи. Клавдия

Да, я всегда прекрасно знала, как надо жить. Мне это стало понятно буквально сразу. Если хочешь чего-то добиться, обращай на себя внимание и уже потом не отпускай от себя. Николай – хронический недотепа. Он совершенно не умел ластиться и ласкаться, смотрел исподлобья... Было забавно наблюдать за ним, совершенно не приспособленным к жизни. У человека должны быть мозги, я так считаю. Они даны ему затем, чтобы ими пользоваться и извлекать из этого выгоду. Когда Фортуна дает тебе шанс – бери его любой ценой, потому что следующего может и не быть. Я в этом уверена. Поэтому я и добиваюсь того, чего хочу. Это очень просто: главное – поставить цель. А потом вперед, мой паровоз, другого нет у нас пути. И все будет, как ты хочешь, тип-топ. Не зря существует естественный отбор: то, что выживает сильнейший и умнейший, – закон жизни. Это не я придумала, я это поняла. Пусть другие копошатся в грязи, работают грузчиками, дворниками, швеями или где-нибудь в собесе... Я поднимусь выше многих: я умею быть сильной, умной, дерзкой, обаятельной, настойчивой... Я совершенна. Я часто люблюсь собой в зеркале и понимаю, что жизнь дала мне все для того, чтобы быть счастливой. Я могла бы стать моделью, но это адский труд. Гораздо проще подыскать богатого мужа и жить припеваючи. Бедная мама этого не поняла. Она слаба по натуре, и я ей сочувствую. Николая и отца мне совершенно не жаль, потому что они просто пустой пишик... Я удивляюсь, как у этих вялых и ничтожных людей могла появиться я – такая отличная от них, иная... Спасибо тебе, Господи, что гены смешались именно в нужной пропорции и Ты сотворил меня такой, какая я есть.

Обида

– Мама, не уходи! Держи меня за руку, мама, я падаю! Слышишь, я падаю в шахту, пожалуйста, спаси, умоляю! – Вопли сына вонзались в мозг Ольги, выдирая ее из полубезумной дремы.

Она бросилась обнимать Колю и успокаивающе зашептала:

– Тише, тише, миленький, я с тобой. Ты лежишь на кровати, ты никуда не падаешь...

– Господи, лучше б я умер! Знаешь, когда я лежал там, в шахте, боли не было, был туннель, постепенно расширяющийся, который казался мне золотым саксофоном (не знаю почему, ведь это так странно), и потом, потом я увидел деда, прямо как на фотографии, дедушку Гену, он взял меня за плечи, повернул в обратную сторону и вытолкнул наружу, крикнув: «Тебе еще сюда рано, сосунок!» А потом перед глазами появились лица врачей – и сразу эта невыносимая боль. Я боюсь каждого наступающего дня, потому что все жду, когда она накатит. Я не выдержу, мама!

– Солнышко мое, Николенька, все будет хорошо, ты поправишься. Я просила за тебя святую Матрону, она поможет. Помолись ей – легче станет.

– Мам, я больше никогда не буду тебя обижать. Я вылечусь, встану и пойду на работу. Я буду дарить тебе цветы. У тебя такое старое платье, я куплю тебе новые... много... я обещаю.

Ольга заплакала. Обмывая израненное тело сына, она старалась не смотреть на иссиня-черный цвет кожи и не думать о том, что будет, если случится нагноение и начнется сепсис.

В комнату бодро заглянул врач:

– Ну и ну! Как, вы еще живы, молодой человек? Просто чудеса! – И вышел.

– Вы в своем уме? – ринулась за ним Ольга. – Как вы смеете так при мальчике?

– Не кипятитесь, голубушка. То, что он еще жив, это просто чудо.

– Вы давали клятву Гиппократу, есть же какой-то кодекс чести!

– Голубушка, кодекс чести прежде всего для тех, кто может заплатить за операции, а вам это, судя по всему, не по силам.

Ольга стояла, прислонившись к стене, и бессильно рыдала: дома пьяный обрюзгший муж и семнадцатилетняя дочь, на которую легло бремя заботы о семье, а тут неизбывный кошмар... Она забыла, когда последний раз нормально спала, задремывая урывками и в ужасе просыпаясь снова и снова каждые пять-десять минут. К тому же практически каждый день приходили из милиции с допросами о том, как произошло несчастье. Хорошо еще, что психолог запретил говорить на эти темы: у Коленки сразу начинались приступы судорог и истерики, так что приходилось вкалывать ему снотворное.

Ольга вспоминала тот жуткий день с содроганием. Вечером они с сыном опять поругались: томительное и сосущее чувство тоски и чего-то неотвратимо страшного мешало ей отпустить Николая с друзьями на шашлыки, хотя лес находился рядом, через дорогу, она видела его из окна.

– Мама, мне уже двадцать лет, оставь меня в покое! Куда хочу, туда и хожу.

– А чем кончилась твоя поездка к Катюше, забыл? Ты потом долго еще лежал в больнице! Тебе даже пришлось уволиться с работы, ты же теперь практически ничего не можешь. Хоть бы пошел доучился, что ли, в училище...

– Перестань. Я иду в лес с ребятами, тут два шага. Что может случиться?

– Не ходи.

– Мам, там Ленка и Дрон меня ждут. Пошел я.

– Я спрятала ключ от входной двери. Ты отсюда не выйдешь.

– Знаешь что? Кончай себя так вести, я тебя ненавижу! Столько лет я тебе был безразличен – и вдруг такая забота, с чего бы это? Не с того ли, что мне дали отдельную квартиру, которую ты сдаешь и получаешь за нее деньги, которые тратишь на Клавку?! Открой дверь немедленно! Я отсюда вообще уйду, насовсем.

– Иди-иди, скатертью дорога! Вот твой ключ! Я только вздохну с облегчением, когда ты провалишь! Сидит на моей шее здоровый балбес, ни работать не хочет, ни матери помочь! А Клава, между прочим, отлично учится, в отличие от тебя, ничтожество!

– Ну и прекрасно, не жди меня!

Ольга услышала, как со всей силы хлопнула входная дверь. Ну вот, опять разговора не получилось. Все попытки найти общий язык кончались примерно одинаково. Но сегодня было как-то особенно тоскливо. «Наверное, магнитная буря, – подумала она и вздохнула. – Опять явится пьяный, и только к утру...»

Спозаранку, услышав звонок в дверь, Ольга нехотя пошла открывать. «Небось, ключи потерял, пьянь, весь в папашу», – мелькнуло в голове, но за дверью стояла подруга сына Ленка.

– А вы не в курсе, – быстро выпалила она, отводя глаза в сторону, – Коля находится в реанимации... в Склифе... умирает он. Я думала, вам позвонили. – И умчалась.

Ольга пошатнулась и машинально оперлась о дверной косяк. Потом, шаркая по полу разношенными тапками, пошла звонить в справочную, узнавать телефон института Склифосовского. Там подтвердили: да, ее сын у них, но по телефону они справок о состоянии больного не дают. «Приезжайте», – равнодушно сказали в трубку. Пошли гудки.

Держась за сердце, не попадая пальцами по разъезжающимся мокрым от слез кнопкам, Ольга с третьего или четвертого раза дозвонилась до соседки, упросив ту поехать с ней в больницу.

– Сама, Марин, я боюсь, не пойму, что врачи скажут, я как в тумане, – вывалила наружу трудную фразу. – А потом, ну, если что, как же я... там...

– Собирайся. Поехали, – просто сказала Марина. – Я буду готова через пять минут.

Несколько дней, разыскивая Ленку и разговаривая с милицией, Ольга пыталась понять, как могло случиться несчастье. Ситуация была странная. Как, каким образом вместо шашлыков в лесу трое ребят оказались в полуразрушенной больнице? Что они там делали? Вроде бы уже взрослые, чтобы играть в такие подростковые игры. Ответов на вопросы найти не удавалось. Ленка под нажимом милиции рассказала, что они «просто гуляли», а Николай «полез туда, в больницу, один». Они «просто стояли и ждали его во дворе», а потом услышали крик. Подбежав, они глянули в шахту, но там было темно. Они испугались и убежали, но потом им стало стыдно и они вернулись, долго звали Николая, но он не отвечал. Тогда они вызвали по мобильнику «скорую» и, спрятавшись, наблюдали, что будет дальше. Та долго не ехала, а потом, прибыв и осмотрев место происшествия, врач заявил, что тут нужна бригада МЧС, потому что спуститься в шахту собственными силами и вытащить парня невозможно. Когда Николая достали, он был в состоянии клинической смерти. Но врачи откачали его, как ни бедна порой наша медицина, но электрошоковый стимулятор есть в каждой машине «Скорой помощи».

Ольга потом сходила на то гиблое место, не удержалась, и даже нашла в окровавленной порыжелой траве обломки сотового телефона и разорванную серебряную цепочку с нателным крестиком, но забирать их не стала, только загребла ногой немного земли и присыпала страшные находки, стремясь похоронить эти воспоминания.

В те редкие дни, когда в больнице дежурила Клава, Ольга тут же ехала к Матронушке, а потом по друзьям – просить в долг на операции. По крупицам, не поднимая от стыда глаз, ходила по знакомым, сослуживцам, соседям, дальним родственникам. Собрала. И случилось еще одно чудо – не одну кандидатскую и докторскую защитили врачи на той операции, аналогов которой до сих пор не было, собрали по кусочкам, как пазл, сшили, склеили, виртуозно спаяли все, что можно, и сами удивились результату: Николенька смог ходить – правда, на костылях и постоянно морщась от боли. Врачи даже стали намекать на то, что, возможно, когда-нибудь парень сможет передвигаться самостоятельно и все будет как прежде. Но как прежде уже не получалось. Во-первых, Коля панически боялся лифтов и высоты, он не мог ехать, а спускаться по лестнице было нереально тяжело, кружилась голова, и было страшно упасть вниз. Во-вторых, врачи, не стесняясь в выражениях, откровенно рассказали ему, что своим пенисом он воспользоваться сможет теперь только в одном случае, если соберется пописать.

– Зачем ты меня отмолила? – орал он. – Зачем? Я не хочу жить импотентом! Я вообще не хочу жить! Вы всегда меня ненавидели! Зачем ты меня родила? Лучше бы я умер! У меня, кроме бабушки, никогда никого не было, я для вас пустое место! Чтоб вы все сдохли! Я вас ненавижу!

– Иногда я тоже думаю, лучше бы ты умер, – тихо произнесла Ольга. – Ты как кукла – неживая, недобрая, лупоглазая, у которой нет чувств, а есть только то, что «вдыхают» в нее люди своими эмоциями, наделяют какими-то воображаемыми чертами, мечтая о несбыточном. Тебя же просто нет... Ты паразит, который не видит в мире ничего, кроме себя. В твоих стеклянных глазах только отражается свет чужого мира, а своего собственного у тебя нет.

– Кукла? Да, я кукла. Мама, неужели ты не видишь, что все мы – божьи куклы, которые в любой момент можно сломать или выбросить? Мы Ему не нужны... Мы никому не нужны... А ты все ходишь и молишь. Кого? О чем? Нами просто играют, пока это интересно. Уходи. Я устал. Я не хочу тебя сейчас видеть.

Игла тихо и бесшумно проколола кожу, унося с собой раздирающую боль. Глаза Николая слипались, воздух дрожал и расплывался, и перед ним внезапно всплыла знакомая местность. В ушах стоял привычный гул. Прислушавшись к нему, Николай пытался вспомнить, что это.

Бестиарий. Помпа

Началась помпа. Проходя по арене, Никос ловил взгляды зрителей и ощущал себя игрушкой, служащей для забавы толпы, жаждущей крови и зрелищ. Уйдет ли он, Никос, через Врата Жизни¹⁴ или его тело потащат железными крюками через Врата Смерти¹⁵ в споларий¹⁶ – это не важно. Важно лишь то, что сейчас он будет сражаться, красиво и легко держа гладио¹⁷ в руке, следя за отточенностью взмахов в стремлении быстро и виртуозно поразить цель. А запах опасности уже растекся по Колизею, незримым, но плотным туманом окутывая каждого. И вот ланиста уже поделил бойцов на пары, чтобы начать показательный поединок тупыми мечами, и свирели и флейты запели свой театральный аккомпанемент, словно вещая о несерьезности действия. Разогревая публику, гладиаторы ждали сигнала трубача, чтобы приступить к сражению смертоносным оружием. Сделавшие ставки дожидались этого мгновения, чтобы воплями поддерживать своего избранника в надежде сорвать неплохой куш. Стоило гладиатору отступить или попытаться уклониться от схватки, как тут же его спину настигал удар плетью или раскаленным железом. Улюлюканье толпы и боязнь оглянуться назад, чтобы не отвлечься от основного удара, держали гладиаторов в постоянном напряжении. Только предельная собранность и сосредоточенность помогали выжить.

Никос увидел, как арену окружили стрельцы, охраняющие зрителей от нападения диких зверей. Значит, скоро его выход. Задумавшись, он пропустил исход сражения и уже под конец заметил, как безвольное тело Эномая потащили крюками в споларий. Ухмыляющийся Ганник довольно нанизывал брошенные поклонниками украшения на гладио. Толпа бесновалась.

Время внезапно стало течь медленно, словно перенеслось в какое-то вязкое пространство. Никос не понял, как он, только что стоявший в куникуле, оказался на арене с бесновавшимися львами, а потом и на колеснице. Щелкая бичом, он несся сквозь толпу, беззвучно открывавшую рты и что-то кричавшую ему, Никосу. Силясь услышать их крик, он напрягал слух, но все так же несся сквозь пространство и время, сквозь выпученные глаза зрителей, сквозь их разинутые, полные слюны, ярко-красные рты, несся, казалось, даже сквозь самые их внутренности, скользкие и кровавые.

И вот он уже стоит на арене, потупившись, рассматривает ржаво-оранжевый песок, на который медленно капают тугие вишневые капли, чтобы, вспухнув на миг, тут же исчезнуть, всосаться в глубину арены, став даром для бога войны и воплощения мужской силы – Марса, и не знает, что делать дальше. Неловко поклонившись, уходит. В Ворота Жизни.

Подбежавший Марк трясет его за плечи, и тут Никос наконец слышит:

– Что с тобой? Очнись.

– Я в порядке, – с трудом разлепляя онемевшие губы, выталкивает Никос квадратные бугристые слова.

– Приди в себя.

– Все хорошо.

– Посмотри на меня! Ты болен?

– Нет. Я здоров. – Диким усилием воли Никос фокусирует расплывающийся взгляд на обеспокоенном лице друга. – Иди, я в норме.

¹⁴ Врата Жизни – через них уходили живые гладиаторы.

¹⁵ Врата Смерти – через них утаскивали трупы и умирающих гладиаторов.

¹⁶ Споларий – помещение, где умирающих гладиаторов добивали.

¹⁷ Гладио – меч гладиатора.

И время опять проваливается в преисподнюю. Река вечности тянет гладиатора в свои черные мрачные воды забвения, суля покой. Хочется покориться, отдаться ей и плыть по течению, но его опять трясут, бьют по щекам, обливают водой и выталкивают на арену. Перед глазами разъяренный носорог с покрасневшими, бешеными глазами-щелочками. Никос внезапно понимает, что ему необходимо повернуться к зрителям, найти среди них мать и сестру, взглянуть в их глаза или, прищурившись, разглядеть на третьем ярусе¹⁸ хотя бы лица... Но все сливается, все одинаковы, узнать никого невозможно, потому что он, Никос, лишь забава и игрушка, мертвая кукла, у которой нет собственной воли и жизни. Поэтому-то он даже не чувствует, как разъяренный носорог протыкает его спину, взбрасывая в воздух, как с хрустом ломается позвоночник, не понимает, как он оказывается на золотисто-красном песке, как загребает его пальцами, пытаясь поднести к лицу просыпающиеся песчинки. Он смотрит вверх и думает: «Как странно, я не вижу ни звезд, ни солнца...», забывая о багрово-красном веларии над Колизеем, который погребальным полотном висит над его изломанным телом.

¹⁸ Зрительные места были разделены на три яруса. Нижний ярус – знатные вельможи и богатые коммерсанты, второй – для свободных граждан Рима среднего сословия, последний – для простого люда. На самых верхних рядах сидели рабы, управляющие лифтами.

Новый год

Еще до того, как Николенька встал на ноги, Клабочка на полгода уехала стажироваться в Англию. Ольга не смогла ей отказать, несмотря на то что ее присутствие было необходимо, и даже закрыла глаза на чудовищные долги. Клава же, невинно глядя на мать, говорила:

– Понимаешь, это такая возможность! После стажировки меня могут взять на очень хорошую работу, и я смогу приносить домой деньги, чтобы помочь тебе. Мамусенька, ты же знаешь, как я люблю тебя! Тебе без меня будет только легче!

– Ладно, солнышко, поезжай, хотя я бы предпочла, чтобы ты немного повременила, сейчас такое трудное для нас время...

– Мам, ну о чем ты говоришь! Потом такой возможности может и не представиться!

– Да, понимаю.

– Ты найдешь мне деньги на билет?

– Доченька, ты же знаешь, у меня нет!

– Мамуленька, мне очень нужно! Ты у меня самая лучшая, я знаю, что ты придумаешь, обязательно при-ду-ма-ешь...

Сжав зубы, Ольга попросила денег у свекрови. Выслушав полуторачасовой монолог о том, что все всегда получают по заслугам, Ольга получила необходимую сумму, мысленно пожелав Кире Ивановне «всяческих земных и небесных благ». Довольная Клава улетела в Лондон.

В новогоднюю ночь Ольга сидела одна в комнате и пила пустой чай – накрывать стол не хотелось. Каким-то ненужным и приглушенным фоном к ее мыслям звучал с экрана «Голубой огонек», где красивые и счастливые звезды распевали новогодние песни.

Внутренние монологи. Ольга

Господи, прости мне мои прегрешения! Я так много думала о том, какая я несчастная, что за своими обидами совсем позабыла о том хорошем, что у меня есть и что было. Я вспоминаю сейчас море, на котором каждый год отдыхала с родителями. Вспоминаю Кремлевскую елку и потрясающие сладкие подарки, сделанные в форме башни Кремля, те наряды, которые мне привозил из командировок отец, то ощущение счастья, которое есть у ребенка практически без причины, просто оттого, что есть папа и мама, или оттого, что, взяв тебя за руки, они ведут тебя в зоопарк, а ты подпрыгиваешь и, поджав ноги, виснешь на их руках. Да и сейчас... Мой сын жив, и все выправится, главное, что он жив! Он обязательно выздоровеет! Клавдюша умница, сама столько всего добилась, радость моя и гордость. Я теперь понимаю, после того, как сходила к Матронушке, понимаю, что надо любить этот мир, любить людей, ведь, когда любишь, мир тоже меняется и света в нем больше. Во, мать Матрона всех любила, никому зла не желала, хоть и судьба у нее была трудная, а скольким при жизни помогла, скольких сейчас спасает! Мы же своими претензиями, чернотою своею столько хорошего в зародыше губим, ростки эти неокрепшие в грязь втоптываем. Не любим себя, ближнего своего не любим! Может, оно, конечно, не всякого ближнего полюбить удастся, но и зла желать не надо, может, лучше просто в сторонку отойти от этого человека. А все же не так плоха жизнь, коли в ней чудо происходит, значит, есть провидение божественное, которое тебе на помощь приходит, зрение иное дает, и благодать божья тоже не пустой звук. Просто надо быть внимательнее к близким, не уходить в себя, не думать только о себе. Может, тогда все изменится.

Николай сидел запершись в своей комнате. В последнее время их отношения с матерью стали немного налаживаться, так как он все равно был вынужден принимать ее помощь, к тому же Ольга стремилась загладить перед ним свою вину за то, что в свое время недодала ему любви и ласки. Однако оттаивал он медленно и нехотя, обороняя свою территорию и душу от слишком назойливых посягательств. Муж Ольги в очередной раз, собрав чемодан с вещами, ушел. На этот раз не к матери, а к любовнице-субутыльнице, пригрозив, что еще подаст на развод и размен жилплощади. Под искусственной елкой сиротливо лежал подарок для любимой дочери – яркая фарфоровая кукла в голубом платье. Клава собирала коллекцию кукол, в ее шкафу уже стояло девять штук, эта же была десятой. Правда, буквально накануне, в тот самый день, когда дочь должна была вернуться в Москву, раздался звонок:

– Ты... мам... за меня не волнуйся, но я на Новый год не приеду. Я скоро выхожу замуж. Знаешь, я тут познакомилась с одним англичанином, его зовут Рэй, Рэй Саттон. Он настоящий потомственный дворянин и к тому же удачливый бизнесмен. Вчера Рэй сделал мне предложение, мы едем к его родителям знакомиться. Думаю, я останусь в Лондоне. Рэй уже приглядел дом, мы его скоро купим. А работать буду в его фирме, так что тут тоже все хорошо.

– Я рада за тебя, доченька, но мы с Николенькой тебя так ждали...

– Ну, мам, ты же понимаешь...

– Понимаю...

– Как вы там?

– Да ничего, потихоньку.

– Как Коля? Нашли, кто его в шахту столкнул?

– Нашли.

– ?..

– Он сам прыгнул.

– Зачем?

- Не знаю, доча, не знаю...
- Ну ладно, мам, вы там празднуйте. Я на днях позвоню. Не скучайте.
- И тебя с Новым годом, милая, – проговорила в гудящую короткими сигналами трубку разочарованная Ольга.

Она вздохнула, поднялась из-за стола, выключила телевизор и, аккуратно достав из-под елки куклу, расправила ее атласное платье и посадила в шкаф. Потом наткнулась на стоящую на полке старую, еще мамину шкатулку со всякой всячиной – разными безделушками, парой дешевых золотых колечек с фианитами, несколькими аляповатыми брошками. Бережно взяла шкатулку в руки и поставила на стол. Извлекла оттуда единственную семейную ценность – старинные папины часы-луковицу – и крепко зажала их в кулаке. Подойдя к окну, Ольга смотрела, как медленно кружится, таинственно серебрясь и поблескивая в свете фонарей, белый снег, укрывая пушистым ковром черную стылую землю. Где-то вдали раздавались хлопки и взрывы праздничных петард, раскрашивающих ночное небо тысячами ярких сказочных звезд, мгновенно гаснущих и не успевающих долететь до земли. По дороге с мешком за спиной плелся пьяный Дед Мороз, распевая во все горло «В лесу родилась елочка» и размахивая бутылкой. За стенкой тихо плакал Николай.

Робко и нерешительно Ольга подошла к двери его комнаты и постучала. Ей не ответили. Она постучала еще раз и еле слышно, преодолевая чудовищный страх, спросила:

- Николенька, к тебе можно?

Времена города

Серафима

В тесной и неудобной сестринской пахло антоновскими яблоками и шоколадом. Освежающий запах дачной антоновки был домашним и знакомым, но в сочетании с запахом шоколада и примешивающимися к нему запахами йода и хлорки вызывал чувство раздражения. Комната для медсестер выглядела такой же бедной, как и во всех государственных больницах. В одном из углов стоял допотопный, временами порывающийся холодильник «Саратов», называвшийся холодильником, очевидно, по недоразумению, так как в него почти ничего не помещалось – пара йогуртов и бутербродов да пакет молока. На бутыльно-зеленого цвета стене висел прошлогодний календарь с гордой надписью «Московская федеральная налоговая служба», подаренный кем-то из пациенток. Письменный стол у окна поблек давно облупившимся лаком, и на его жирной, засаленной столешнице виднелись следы от чашек. Рядом с дверью, как часовой, вытянулся шкафчик с массивными металлическими крючками, на которых болтались потасканное серое пальтецо и белый халат, давно превратившийся в замызганную тряпку. С другой стороны громоздилась кушетка, накрытая прорванной и порывелой целлофановой пленкой.

Фима притулилась на рассохшемся скрипучем стуле, прихлебывая остывший чай из кружки с расплзшимся паутинками трещин рисунком. За окном таял душный и сумрачный день, нагонявший черные тучи в ожидании ливня. Акушерка злобно смотрела на большой мешок яблок, неряшливо сваленный в углу, рядом с кушеткой. Сегодня ей не повезло: погода мерзкая, по дороге на работу она ухитрилась промочить ноги, да еще вдобавок какая-то верткая старушка, залезая в трамвай, сильно двинула ее по ноге своей тяжело нагруженной хозяйственной сумкой.

«Тащат чего-то, тащат, – бормотала Фима вполголоса, – вот, все, что могли, яблоками завалили да шоколадом. Нет бы денег принести, а они вот яблоки! Понятно, что в бесплатном роддоме ничего не заработаешь, надо в коммерцию идти». Она лениво почесала мокрую шею и вздохнула: «Только успела помыться, опять вся потная! Да, езда в общественном транспорте к чистоте не располагает, результат оставляет желать лучшего».

– Фима-а! – раздался зычный голос из коридора. – Еще одну привезли, принимай!

– Ох ты ж, боже ж мой, – запричитала та, – и минутки свободной нет чайку попить. Да иду я, иду, Борис Филиппыч, бегу уже, бегу, – добавила уже шепотом.

Она пригладила волосы руками, судорожно одернула юбку и встала со стула.

– И шо ж за жизнь-то такая собачья, – охая и кряхтя, пробурчала Фима, шлепая разношенными тапками по холодным плиткам пола.

Серафиме Петровне Мыриной недавно исполнилось сорок четыре года, о чем она старалась не вспоминать. Жизнь так сложилась, что Фима с детства была у матери на побегушках. Отца она не знала, а мать про него ничего не говорила, кроме как «подлец и негодяй». Иногда еще добавляя, что это он виноват во всех их несчастьях и бедности и что из-за него она оказалась парализованной. Анна Анатольевна была, по сути, несчастной женщиной: отец их бросил, не снеся ее жесткого нрава и привычки всеми командовать, а потом по дороге на работу женщина попала в аварию, после которой ноги отказались ей служить. Поскольку Анна Анатольевна всегда была женщиной властной, в прошлом руководителем одного из отделов Министерства финансов, сама мысль о том, что она теперь полностью зависима от дочери, приводила ее в неистовство. Дочь она возненавидела: «Впереди у той целая жизнь, муж, дети,

а мама потом будет заброшена в Дом инвалидов... Она ходит, бегает, прыгает, может плавать и танцевать. Я ничего не могу. Не хочу ей счастья, хочу, чтобы она была со мной. Я ее родила, она обязана мне всем!»

Потихоньку Анна Анатольевна стала требовать от Фимы, чтобы та приносила ей водку – только так можно заглушить свои мучения и нескончаемые внутренние монологи, а еще страх.

«Подай, принеси, марш в магазин! Ты почему суп не сварила? – недовольно бурчала мать, сидя в инвалидном кресле. – Тебе сто раз повторять? Шляешься, стерва, по пацанью, а дома мать беспомощная! Учти, принесешь в подоле, выгоню!»

Девочка обычно молчала, забившись в темный и пыльный угол коридора, пригнувшись и закрыв руками уши. Она знала, что, если будет спорить, крик будет продолжаться вечность. Мать, несмотря на инвалидность, глотку имела луженую и отыгрывалась за свою беспомощность и несложившуюся жизнь на дочери. Фима не могла сказать, что все время пробыла в библиотеке и готовилась к экзаменам в медучилище, – мать бы ей не поверила. Да и какие мальчишки, когда одежка у нее сильно поношенная и в заплатках, а на ногах уродливые боты «прощай молодость»?

Однажды, получая для матери в поликлинике лекарства, Фима просмотрела ее карточку. Там было написано, что «из-за межпозвонковой грыжи, образовавшейся в результате аварии, пациентка утратила произвольные движения иннервационных мышц». Девочка догадалась, что ее отец здесь ни при чем, хотя эти термины ей ни о чем не говорили.

Жили они на мамину пенсию по инвалидности да на те мизерные заработки, которые Фиме удавалось иногда перехватить. Жильцы дома знали их и чем могли помогали несчастной девочке. Кто вещички ненужные отдаст, кто угостит бутербродом или яблоком, кто попросит присмотреть за ребенком или сходить в магазин и, отводя глаза, сунет ей десятку в карман. Девочка была рада и этому. Она никогда не отказывалась помочь, бросаясь поднести продукты, открыть дверь женщине с коляской, поднять старику упавшую палку. Ее большие глаза казались припорошенными серой дорожной пылью и ничего не выражали. Каштановые волосы Фимы всегда забраны в хвост: деньги на стрижку – непозволительная роскошь. Девочка не знала ласки и удовольствий, учеба и хлопоты по дому – вот все, что у нее было. Иногда соседи угощали ее мороженым или конфетами. Эти удивительные наслаждения она тщательно скрывала от матери, боясь потерять их. С тех пор мороженое стало для нее символом радости и достатка. Единственное, что ей разрешалось, вернее не запрещалось, это читать книги, и Фима обрела в них учителей и друзей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.